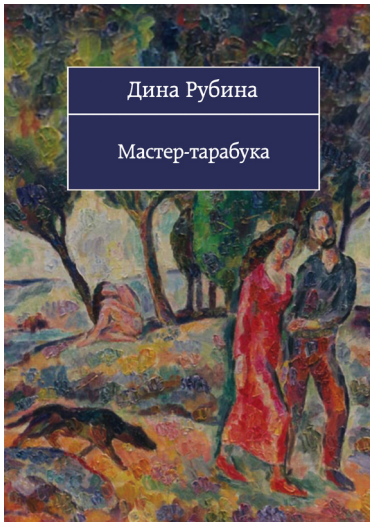

Дина Рубина
Мастер-тарабука

Дина Ильинична Рубина
Мастер-тарабука (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164016
Мастер – тарабука: Эксмо; М.:; 2007
ISBN 9-7856-9923-6

Аннотация

Нет, все-таки надо любить! Надо влюбляться, сходить с ума, назначать свидания, задыхаться, тряся грудью, бежать к метро!

Да — возраст, да — недостаток кальция, фтора, чего там еще… у каждого своя гормональная история.

Но душе-то все равно пятнадцать лет!

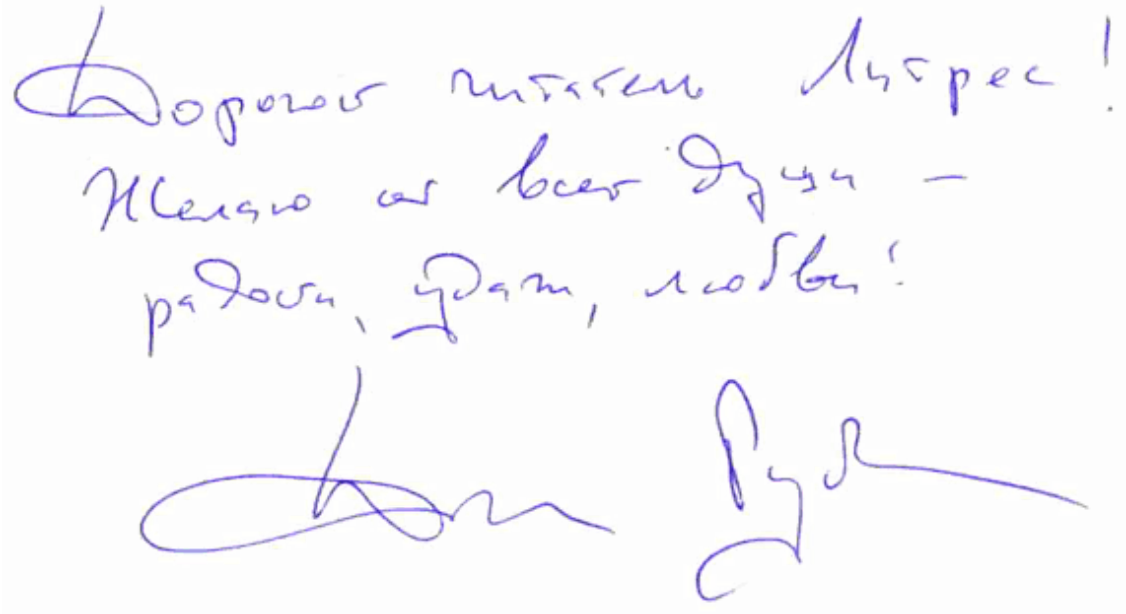
Содержание:

Высокая вода венецианцев
Несколько торопливых слов любви…
Область слепящего света
На долгом светофоре
Шарфик
В прямом эфире
Мастер-тарабука
Голос в метро
Заклятье
Бессонница
Двое на крыше
И когда она упала...
Гобелен
Волшебные сказки Шарля Перро
Такая долгая жизнь (Две истории любви)

Содержание

Высокая вода венецианцев 5
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Дина Рубина
Мастер – тарабука (сборник)



Высокая вода венецианцев

Ренате Мухе

Она догадалась за несколько мгновений до того, как Юрик взял в руки протокол рентгеновского исследования. Просто: вдруг поняла. Такое с ней изредка случалось за игрой в преферанс, она внезапно понимала – видела – карты в прикупе.

Собственно, плохое заподозрила она раньше, когда конверт со снимками не выдали на руки. И сейчас, сидя на кушетке в ординаторской, отметила, как завис в руке у Юрика этот подробно исписанный листок, отделился, обозначился роковой вестью.

Он продолжал всматриваться в написанное, как будто мог вычитать что-то еще, опровергающее, намекающее на некий чудовищный розыгрыш… В эти несколько секунд она смотрела в его лицо жадно, отчаянно, пытаясь уцепиться за взгляд, как цепляется побелевшими пальцами за карниз человек, выпавший из окна восьмого, скажем, этажа.

– Кутя, – проговорил он наконец (она бессознательно отмечала движения твердых бледных губ столько лет знакомого лица), – тут такое дело… Он видит единичный метастаз в легком… Значит, будем искать источник… будем обследоваться… Завтра «построгаем» тебя на «сити», и… речь, видимо, пойдет об операции… ну, сама понимаешь…

Хорошенькую они тут себе взяли моду – сообщать пациенту диагноз. Проклятая этика западной медицины… Впрочем, он и не смог бы от нее ничего скрыть… Слишком прямо смотрит в глаза, молодец, выбрал достойный тон – озабоченный, но без паники… такое профессиональное спокойствие. Наверняка трусит. Он и на контрольных всегда был абсолютно как бы спокоен, особенно когда не знал темы.

Разумеется, ее звали не Кутей. Это была школьная кличка. Во втором классе осенью она приволокла с улицы щенка – мокрого и дрожащего. Носилась с ним по школе весь день, тиская и подвывая: «К-у-утя, к-у-у-тя…» Щенка назвали Артуром, он вырос в громадного пса и прожил в семье шестнадцать лет, застав еще ее дочь, которой тоже уже…

Да, а кличка осталась.

Стоп, но ведь это может быть ошибкой. Мало ли чего видит там этот парень. Подумаешь – рентген!

– Это может быть ошибкой! – сказала она, рывком подавшись к нему с кушетки и по-прежнему жадно следя за его губами. – Юрик, мы знаем миллион таких случаев. Скажем, туберкулез… Его часто путают с…

– Да-да, – сказал он, – да, конечно! И не выдержал. Обнял, крепко прижал к себе – это была единственная возможность укрыться от ее истошно орущих глаз, – и повторил:

– Кутя, Кутя… только не дрейфь, все будет хорошо… Найдем источник, прооперируем…

Она оттолкнула его, ударила кулаком в грудь, закричала:

– Какого черта вы суете мне под нос ваш вонючий диагноз! Ублюдки! Зачем мне знать, что я скоро подохну?!

Бросилась прочь от него к двери, но сразу вернулась, вцепилась в отвороты халата:

– МИША! НИЧЕГО! НЕ ДОЛЖЕН! ЗНАТЬ! Ты понял? Ничего!

На Юрика жалко было смотреть. Он совершенно растерялся.

– Но это нельзя, нельзя! Тебя надо срочно обследовать! Завтра ты должна быть здесь, на компьютерной томографии… Успокойся! – Он сильно сжал ее руки. – Кутя, черт бы меня побрал… Подожди, я отпрошусь, отвезу тебя домой.

– Отпусти меня на неделю, – сказала она, задыхаясь, – дай неделю!

– Исключено.

– Пять дней! – крикнула она. – Дай продышаться! С детства никогда не мог он устоять против ее характера. И это знали они оба…

– Но в понедельник, в восемь, ты должна быть здесь!

– И насчет Миши… Ты понял?

– Ну, хорошо, – измученно согласился он, – но в понедельник, в восемь…

…Вдруг она обнаружила себя на скамейке с банкой диет-колы в руке. Значит, вышла из здания клиники, подошла к киоску… протянула деньги… что-то сказала… ей дали сдачу… И все это – минуя сознание?!

Стоп! Так можно черт-те до чего дойти…

Она огляделась. Несколько молоденьких кружевных акаций образовывали скверик… На скамейке напротив девушка, из религиозных, читала карманный молитвенник, шевеля губами…

Солнечный иерусалимский полдень, третье ноября, вторник… Жизнь, в сущности, кончена… Да-да, будет, конечно, и пятнадцатое, и двадцать пятое ноября… Не исключено, что будет какое-нибудь шестое апреля, но уже из окна комнаты – уголок, скажем, неба, если повернуть голову на подушке… Какие-то мечущиеся мысли: надо звонить куда-то – куда? Сообщить кому-то – кому? О чем? Что-то важное доделать – что?

Что могло быть важнее и окончательнее того, о чем она узнала пять минут назад? И откуда идиотское ощущение, что даже это – не конец? А что же? На что ты надеешься и какие эксперименты собираешься проводить там, на небесных мышах?

Кстати о мышах.

Она отыскала в сумке телефонную карточку, на обороте которой был напечатан текст национального гимна. Карточка изрядно попользована. Ничего, на две минуты хватит. Она зашла в ближайшую телефонную будку и набрала номер лаборатории.

– Юля, слушай внимательно, я с улицы, и карточка тает. – Это было необходимое вступление. Общительную аспирантку Юлю следовало нейтрализовать с первого вздоха. – У меня серия рассчитана на неделю, осталось три дня, а мне необходимо исчезнуть. Молчи! Слушай! Я знаю, что ты колоть не сможешь, но упускать нельзя ни в коем случае. Так попроси Володю с третьего этажа, он знает, он заколет. Это лысые, те, что сидят в блоке двенадцать. Образцы в холодильнике слева, на полке… Поняла?

Юля вскинулась что-то объяснять, спрашивать, извиняться…

– Юля, цыц! У меня кончается карточка. Тебе все ясно? Два слова – как там дела?

И Юля, вымуштрованная ею, как солдат на плацу, ответила что и полагалось отвечать:

– Все хорошо, они умирают!

И, оглушенная этой фразой, этим привычным их девизом, минуты три она стояла в телефонной будке, не в силах повесить трубку на рычаг.

…И вновь застала себя на той же скамейке… Да что ж ты, как коза на привязи, освоившая свой безопасный ареал – лужок с уже изглоданными кустиками, – возвращаешься и возвращаешься к знакомой скамейке… Проклятье! Откуда это малодушие, эта дрожь, этот детский липкий ужас?!

– Ну, умрешь! – громко сказала она вслух. – И черт с тобой. А ты как думала? Моцарт умер, а ты будешь вечно живая?

«И Моцарт, – подумала она, – и Моцарт, и кое-кто еще, и кое-кто другой, о чем не учат в школе…»

Она сидела в своей привычной позе: лодыжка согнутой левой ноги на колене правой. Дурацкая студенческая поза, пора изживать, доктор Лурье. Да ничего уже не пора… из-живать. Ибо вот, ты прожила свою жизнь, так и не сменив потертых джинсов на что-то поприличнее. Доктор Лурье.

По тому, что руке стало жарко (солнце переместилось влево), она поняла, что сидит так, по-видимому, уже долго, рассматривая свою загорелую щиколотку сквозь припыленную кожаную плетенку босоножки. Лак на ногтях пооблупился, надо бы снять и покрыть свежим. Она положила ладонь на эту – свою и как бы уже не совсем свою (а чью еще? что за новый хозяин объявился вдруг в ее целиком ей принадлежащем теле?) – тонкую щиколотку еще молодой женщины. Да-да, тридцать девять, хороший возраст… Хороший возраст для неконтролируемого деления раковых клеток.

Немедленно встать!

Она поднялась со скамейки…

Теперь куда же? Хорошо, что есть время до вечера, пока Миша придет с работы и спросит, была ли она у Юрика и что, тот считает, надо делать с ее вечными бронхитами…

Она сглотнула воздух. Уже несколько раз с того момента, когда, не глядя в листок, исписанный рентгенологом, она вдруг *увидела* диагноз, – несколько раз за утро плотно ощутимый комок ледяного бабьего ужаса взмывал из желудка к горлу и застревал так, что приходилось сглатывать.

Нет, нет, все вздор! Сотни людей излечиваются. Ну, не излечиваются – *тебе ли не знать!* – под… подлечиваются. Во всяком случае, еще какое-то количество лет живут дальше, работают, любят, путешествуют…

Путешествуют…

Минут через двадцать она уже сидела в кресле перед столом, за которым ее знакомый турагент Саша элегически перебирал клавиатуру компьютера, рассеянно – так казалось со стороны – поглядывая на экран. На самом деле Саша был профессионалом и видел все.

– Вот, например, – сказал он лениво, – Амстердам, сто девяносто девять, послезавтра.

– Не годится! Я же сказала, Саша, мне надо уехать сегодня.

На людях – и она это с удивлением отметила – ей стало гораздо легче. Мир вокруг нее восстанавливался, собирался, как паззл, заполнялся голосами, звуками улицы, разумными действиями людей. Мир был прекрасно обустроенным, привычным уютным обиталищем, цельной картиной, в которой и она была значительной и необходимой деталью, а значит, не могла не существовать и впредь.

– Ага! – вдруг воскликнул Саша с явным удовольствием мастера, любующегося результатом своих усилий. Он даже ласково прошелся ладонью по клавиатуре, как по холке любимой призовой кобылы. – Вот то, за чем я охочусь! Добро пожаловать в Венецию!

– А там не холодно сейчас? – спросила она, уже понимая, что – конечно, конечно Венеция!

Именно Венеция! Как она могла жить до сих пор, ни разу не быв в Венеции! – А что там – карнавал?

– Да нет, – сказал Саша, – карнавал же в феврале. Но сейчас огромные скидки на билеты. Осень, не сезон, возможны наводнения… Возьмите куртку. Я попытаюсь заказать номер в недорогой гостинице в центре, есть такая – «Аль Анжело», прямо на площади Святого Марка.

А она уже вцепилась в эти так сладко звучащие имена, уже поплыла им навстречу, уже поверила, что все будет хорошо сейчас, немедленно и навсегда.

– Черт возьми, Саша! – воскликнула она. – А вы знаете, что в институте два года подряд я брала факультатив итальянского? Да-да! Ни черта, правда, не помню, но где-то у меня валяются учебник и словарь… Мне нравится этот поворот событий, – сказала она решительно. – Мне… ми пьяче. Ми пьяче, Саша!

– Ну, вот видите, как славно, – сказал Саша, сам донельзя довольный. – Я заказываю… Вы успеваете. А билет вас будет ждать в аэропорту, на стойке регистрации.

…Дома она столкнулась с дочерью, хотя надеялась, что успеет улизнуть, оставив веселую извинительную записочку. Впрочем, подумала она, так даже лучше. Миша не будет настолько потрясен и испуган ее необъяснимым отъездом, если сейчас удастся *запудрить мозги* ребенку.

Она зашла в ванную, включила воду и распустила волосы, что всегда требовало некоторых строительных усилий: неимоверное количество заколок и шпилек держало в какомто пристойном порядке ее густые длинные волосы редчайшего природного цвета – темнозолотистой меди, того благородного пурпурного оттенка, который невозможно назвать ни рыжим, ни красным, ни просто каштановым… Разделась и встала под душ.

– Ну, что сказал Юрик? – спросила дочь, заглядывая.

– Да так, ерунда… – сказала она, намыливая губку.

– А конкретней? – Дочь унаследовала ее характер, въедливый, настырный, пунктуальный.

– Отвали, – коротко попросила мать, задергивая клеенчатую шторку.

Странно, что дочь – студентка второго курса университета – в это время дня оказалась дома. Не иначе как опять поссорилась с приятелем, этим вялым ничтожеством с бескостным рукопожатием. Девочка утверждает, что он талантлив. Как может быть талантливым человек студенистый, словно устрица? Ее так и подмывало спросить у дочери, чем он трахается. Но Миша, со своим извечным благородством, всю жизнь унимал хулиганские поползновения жены.

– Слушай… – Она накинула халат, завязала мокрый узел волос (серия привычных, почти бессознательных круговых движений пальцев по вколачиванию шпилек и заколок в усмиренного, свернутого кольцами удава на затылке). – Одолжи мне пару свитерков, я тут сбегу от вас дней на пять в более умеренные широты.

– Куда это? – удивилась дочь.

– Не твое дело, – спокойно отозвалась она.

– Ого! – Дочь смотрела на нее с тревожным восхищением. – Уж не романчик ли ты закрутила, бабуля?

Между ними была разница в девятнадцать лет. «Наглая девка», – подумала мать с горьким удовольствием, а вслух повторила коротко:

– Не твое дело!

Дочь помогла ей собрать небольшую дорожную сумку, делая вид, что все о’кей, задавая попутно вполне бытовые вопросы: «А махровый халат берешь?» – «Нет, он тяжелый, положи тот голубой, шелковый», – пытаясь скрыть свое замешательство. Дочь была ее точным повторением – поразительная копия, с материнской походкой, теми же подростковыми ухватками, той же манерой сидеть задрав ногу на ногу. Вот только цветом волос пошла в Мишу и носила короткую светлую стрижку – и поэтому была совершенно иной женщиной.

– Но у тебя же эксперимент, – вспомнила дочь. – Кто закончит? Юля?

– Да нет, у Юли же аллергия на мышей. Есть там один, с третьего этажа… Ничего, справятся, не маленькие.

– Я вам факсовать буду, – пообещала она, когда водитель такси уже вызванивал ее вниз, к подъезду, – р-романтические эпистолярии…

– Ты что, и телефона не оставишь? – спросила дочь с явной уже тревогой.

Тогда она чмокнула своего единственного ребенка, что случалось крайне редко, и сказала:

– Вот дура, кто ж в таких случаях телефон оставляет!

Дочь внимательно смотрела на нее.

– Но ты отца-то, надеюсь, не бросишь? – спросила она, кривой усмешкой демонстрируя свойский – как бы – юморок. На самом деле совершенно была обескуражена ситуацией.

Ничего, ничего. Лучше так, чем…

– Может, и брошу! – задорно крикнула она, садясь в такси и захлопывая дверцу.

И уже внутри, откинувшись на сиденье, расслабив лицо: брошу, милые. Я всех вас скоро брошу.

* * *

В десятом часу вечера она вышла из здания венецианского вокзала к причалу, где – как ей объяснили в поезде – должна была сесть на речной трамвай, или, как здесь говорили, вапоретто номер один.

Еще в самолете, полистав прихваченный из дому старый институтский учебник итальянского, она обнаружила, что помнит почти все. А что не помнила, то сразу и восстановила. Дедово наследство: его феноменальная память на даты, научные факты, имена и иностранные языки. Любопытно, что оба его сына, люди даровитые, не унаследовали этой цирковой, как говорила бабка Рита, памяти. А вот внуки – и она, и покойный двоюродный брат (классическое третье поколение) – оба в детстве любили демонстрировать фокус: раз прочитанную и тотчас выпаленную наизусть страницу книги.

В поезде она даже заговорила с пожилым учителем физики из Милана и, к удивлению своему, выяснила, что вполне прилично объясняется, а понимает почти все. Но тут сказывались и семь лет музыкальной школы с итальянскими терминами в нотах, и ее отличный английский, и сносный французский.

Минут тридцать она стояла на ступенях вокзала, пытаясь совладать с собой, шагнуть и начать жить в этом театрально освещенном светом лиловых фонарей сумеречном мире, созданном из бликов темной колыхающейся воды, из частокола скользких деревянных свай с привязанными к ним гондолами и катерками, на фоне выхваченных слабым светом невидимой рампы дворцов, встающих из воды…

И позже, когда все-таки, пересилив себя, взяла билет и ступила на палубу вапоретто (словно взмыл занавес и оркестр вкрадчивым пиццикато струнных заиграл музыку пролога чудной таинственной пьесы, главным действующим лицом которой она себя сразу обозначила), позже на каждом повороте канала – едва из сырого тумана выплывал новый, мягко подсвеченный, смутно-кружевной, с черными провалами высоких венецианских окон дворец, или вдруг вырастал и черной тенью проплывал над головой мост Риальто – сердце ее беззащитно взмывало, губы приоткрывались, выдавливая тихий стон восторга, и она падала, падала, как в детстве в луна-парке, в сладко холодящую живот пропасть…

Она стояла у поручня, возле матроса, который на частых остановках ловко набрасывал на деревянную сваю канат, мгновенно вязал морской узел, подтягивая вапоретто к причалу, и через минуту, когда одна толпа вываливалась на набережную, а другая торопливо заполняла палубу, так же ловко развязывал узел – трамвайчик отчаливал.

– Вам какая остановка нужна? – вдруг спросили рядом по-русски.

Она повернула голову. Девушка, тот простенький российский тип, который ни с каким иным не спутаешь. На туристку не тянет. Такие в прежние времена стояли за прилавком в овощном отделе.

– Как вы поняли, что я русская? – спросила она.

– Ничего себе! – рассмеялась та. – Вы ж, как вошли у вокзала, все стонете и, извините, материтесь… И бледная такая. Я думаю – может, помочь надо…

– Спасибо, я примерно знаю, куда мне. Площадь Сан-Марко.

– Ну, еще две остановки… Вы в первый раз, да? Это видно. А я здесь подрабатываю в одной семье, детей смотрю. Знаете, ко всему привыкаешь. Все примелькается…

…На Сан-Марко вапоретто опустел почти полностью, и она вместе с толпой и за толпой пошла по мосткам, потом куда-то направо по набережной, натыкаясь взглядом на четырехцветные шутовские колпаки с бубенцами и маски, напяленные жизнерадостными туристами… И вдруг попала в огромную залу под черным небом, под колоннады, мягко и театрально освещенные холодным светом фонарей и теплым оранжево-желтым светом из открытых дверей ресторанов…

И пошла на свет этого праздника, вдоль витрин с горячей, ослепляющей лавиной цветного венецианского стекла, вдоль переливов пурпурно-золотого, лазурного, кипяще-алого, янтарно-изумрудного…

Столкнулась с официантом в белом кителе, с подносом на растопыренных пальцах и, удерживая его умоляющей гримасой, торопливо воскликнула:

– Синьор, пожалуйста, синьор! Где тут гостиница «Аль…» – и забыла вдруг название, беспомощно взмахнула руками…

– «Аль Анжело», – деловито подсказал официант и ловко перебросил поднос на растопыренные пальцы левой руки, а правая заплескалась, как рыба, изгибами подтверждая музыку и очарование латыни: – Дестра, дестра… синистра…

И она ошалело пошла в указанном направлении, следуя плеску чужой ладони, вдоль огромных темных арок, и ниш, и колонн самого собора, в упоении повторяя эту музыку вибрирующим кончиком языка: «Дестра, синистра, дестра…», уже обожая эту площадь, официантов, туристов, искрометные витрины, мягкие шутовские колпаки и мотивчик старенького колченогого фокстрота из открытых дверей полутемного бара…

В переулках за площадью толпа не поредела, а шла плотным медленным косяком, как рыбья стая.

Она долго блуждала с радостно колотящимся сердцем, пытаясь найти свою гостиницу по номерам домов, но кто-то бестолковый, а может быть, вечно пьяный пронумеровал дома в непостижимой трезвому уму закономерности… Наконец поверх толпы, над фонарями, над витринами она прочла разухабистую неоновую вывеску: «У ангела» – это оказался большой шумный ресторан, забитый публикой, и она испугалась, что Саша все напутал и ей теперь некуда приткнуться, но вдруг (все происходило мгновенно, хотя и плавно и нереально, как по течению сна) за углом ресторана различила еще одну боковую дверь и ринулась к ней.

На этой стеклянной двери тоже было написано «У ангела» и для наглядности нарисованы скрещенные крылышки, подозрительно смахивающие на долгопалые, долгопятые мужские ноги…

«Да это притон! – сказала она себе весело. – Меня тут ограбят, убьют, столкнут в канал, и дело с концом. Смерть в Венеции!»

Но за входной дверью оказался небольшой грязноватый холл, проходной, – во всяком случае, мимо то и дело проскакивали официанты из ресторана, – справа в неглубокой нише приткнулась давно не крашенная стойка, и вверх на этажи уводили узкие высокие ступени, с которых клочьями свисало затертое ковровое покрытие некогда бордового цвета. Под лестницей она разглядела сваленные небольшой горкой дрова. Выходит, где-то и камин был… Все это ее восхитило.

– Синьор, – с ощутимым удовольствием выговорила она почти уже привычно, подойдя к обшарпанной стойке. – Для меня тут заказан номер. И назвала фамилию.

Забавно, что портье, молодой человек лет двадцати пяти, напомнил ей беспутного двоюродного брата Антошу, погибшего много лет назад от передозировки героина. То же узкое подвижное лицо с густыми бровями, те же «уленшпигельские» складки в углах насмешливого рта и меткий взгляд уличной шпаны.

Он посмотрел на экран компьютера (все-таки эта вездесущая электроника неуловимо оскверняет собой такие вот старинные дома, надо бы запретить…) и любезно улыбнулся:

– Буона сера, синьора. Ваш номер – сто двадцать седьмой. Пятый этаж. Оставьте паспорт, я верну его завтра утром.

Она взяла ключ и вдруг спросила, сама не зная почему:

– Как вас зовут?

Он замешкался, принимая ее паспорт, глянул из-под густых бровей и сказал наконец:

– Тони… Антонио.

Она удовлетворенно кивнула (так легким кивком подбородка поощряет на репетиции режиссер – актера, нашедшего удачный жест или интонацию) и стала подниматься по крутым каменным ступеням вверх.

Ожидая увидеть тесную клетушку недорогой европейской гостиницы, она отворила дверь и замерла на пороге: это была скромных размеров зала с рядом высоких, закрытых ставнями окон, с просторной, в стиле модерн, кроватью, плетеными креслами, зеркальным шкафом… «В чем же причина такой дешевизны? – подумала она озадаченно… – Вероятно, в отсутствии „мест уединенных“…»

Но рядом со шкафом обнаружила еще одну дверь, толкнув которую совершенно остолбенела: еще одна зала, поменьше первой, – огромная, на львиных ногах ванна, биде, два зачем-то умывальника и зеркало в золоченой раме от пола до потолка. Старая стертая керамика, прерывистые стебли по золотистому полю, кое-где треснувшие плитки, но все облагорожено желтоватым обливным светом трех бронзовых ламп. Сказки Шехерезады, таинственный караван-сарай по дороге в Византию.

– Убьют непременно! – сказала она вслух с удовольствием. – Труп выбросят в канал. И дом – притон, и портье – разбойник… Господи, какое счастье, Антоша, Антоша…

Пропащий, так нелепо любимый брат всегда был особой болевой областью ее судьбы. Втайне она считала, что эта боль послана ей в противовес слишком благополучной личной жизни и слишком гладкой, слишком удачной научной карьере. Антоша погиб давно, спустя три дня после рождения ее дочери. «Сгинул ни за понюшку табаку, – говорила Рита, сморкаясь и оплакивая его, буквально – омывая слезами до конца дней, – и все вот эта их Академия проклятая, их проклятая богема…»

Рита, святая душа, неродная бабка, преданная мачеха их с Антошей отцов, – как она любила, как похвалялась своими внуками: один – ленинградский, другая – московская. В детстве они съезжались к ней на дачу в конце мая, после экзаменов. Сначала приезжала на электричке она – с рюкзачком за худыми лопатками, с плюшевой собакой Натой под мышкой… Затем тянулись несколько дней ожидания Антоши, и наконец – с грохотом отворяемого Ритой ставня наступало утро его приезда. Уже за час они с Ритой маялись по клязьминскому перрону, Рита говорила: «Ох, опоздает, ох, чует мое сердце…» Но вот издали уплотнялся слабый гул, вздрагивал перрон, вылетал поезд, наконец в распахнутой двери вагона показывался высокий худой Антоша и – «Э-эй, бабки!» – в знак восторга швырял на перрон грязный бокастый рюкзак. Много лет с восхитительного полета этого облепленного вокзальной лузгой рюкзака начинались каникулы…

Несколько минут она бродила по своей патрицианской зале, присаживалась на кровать, на стул… Осваивалась. Пыталась унять странную дрожь.

– А, поняла! – воскликнула она. – Окна выходят на помойку.

Похоже, так оно и было, если хозяева позаботились о том, чтобы ставни всех четырех византийских окон были плотно закрыты. «А вот я сейчас вас быстренько разъясню». Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком, намертво засевшим в отверстии каменного подоконника, и, когда совсем потеряла надежду увидеть в этой комнате дневной свет, штырек выскочил вдруг с визгливым щелчком, облупленная, бог весть сколько лет не крашенная ставня вяло приотворилась, и, толкнув обеими руками наружу складчатые створки, она ахнула, как час назад, на вапоретто, и сквознячок счастья дунул по сердцу.

Окна ее комнаты выходили в улицу-ущелье, дном которого оказалась мерцающая кварцевыми слитками вода канала. Впереди, метрах в ста, круглился мостик под единственным, манерно изогнутым фонарем. Упираясь в здание гостиницы, канал затем уходил вправо, и там его гребешком седлал еще один мосток под двумя фонарями.

В этот момент, как по знаку помрежа, послышались звуки аккордеона, из-под моста справа показался загнутый турецкой туфлей нос гондолы, выплыли сидящие в ней двое пассажиров, вернее, их колени, укутанные ярким даже в темноте пледом, и аккордеонист, разворачивающий мехи. На корме, смутный, в черных брюках и полосатой тельняшке, ворочал веслом поющий гондольер. Над водой разносилась надрывная «Бесамемучо»…

– О-и! – крикнул гондольер перед тем, как завернуть за угол дома напротив, оттолкнулся от стены ногой в кроссовке и, выровняв гондолу, запел еще надрывнее – работал на туристов. Вскоре гондола ушла под мостик впереди и скрылась, а «Бесамемучо» с минуту еще догасала в воздухе…

Она отпрянула от окна, сказав себе:

– Нет, этого не может быть! Дикая мысль, что ее *послали сюда затем, чтобы*…

…ступить, шагнуть с подоконника посреди этих оперных декораций – уйти на дно лагуны, раствориться в гобеленовой пасторали лодочек и гондол, исчезнуть… словом, *отколоть номерок*…

Ну, довольно! – приказала она себе. Принять ванну и спать, и там будет видно – что представляют собой эти декорации при дневном свете.

Она разделась, пустила воду и, присев на краешек ванны, вынула заколки, привычно повела туда-сюда закинутой головой, разгоняя по обнаженной спине тяжелые волны, давая гриве вздохнуть…

И вдруг увидела свое отражение.

Очень давно она не видела всю себя, со стороны, – дома, в ванной, висело небольшое зеркало, в котором мелькало утреннее деловое отражение: два-три мазка губной помады, прядь волос, взбитая щеткой надо лбом… И вдруг эта огромная клубистая глубь в голубой с позолотой виньеточкой раме… Неожиданная зябкая встреча со своим телом в дымке пара, восходящего над ванной, в приглушенном свете матовых ламп…

Живопись венецианской школы. Тициановой выделки кожа цвета слоновой кости, перламутровая кипень живота, золотистые удары кисти на обнаженной груди и эта масса багряных волос, пожизненное ее наказание и благодать… (Ежеутренние мучения в детстве, на даче. Рита, намотав на руку толстую змею ее волос, медленно вела гребнем от лба, упруго оттягивая назад голову:

– Королевна моя, золотая, медная… ни у кого на свете, ни у когошеньки таких волосьев нету…

– Ой, Рита, больно!

– А ты терпи, терпи! За такое богатство всю жизнь терпеть не обидно…)

За последние несколько месяцев она похудела, стала юнее, тоньше, ушли с бедер небольшие жировые подушечки, так отравлявшие ей настроение…

Молча она глядела в глаза обнаженной женщине, с которой вдруг осталась наедине… Та, в зеркале, осторожно, как чужую, тронула грудь, приняла ее вес в ладонь, медленно обвела пальцем темный кружок соска, чувствуя, как снизу живота поднимается пульсирующее волнение, обхватила ладонями и погладила плечи и… неудержимо, жадно, отчаянно принялась гладить и ласкать это теплое, живое, – живое до кончиков пальцев на ногах, – прекрасное, еще молодое тело, содрогаясь от любви, наслаждения, радостного изумления… Ведь не могло же, в самом деле, быть, чтобы вот это теплое излучение кожи, молочное мерцание грудей, медно-каштановая грива – все это исполненное торжества *цветение* – вдруг… исчезло? Чушь! Бред. Конечно же, ошибка. Да и не туберкулез даже, никакого туберкулеза!

Прочь! Да она здорова, и все! Она еще родить может. Вон бабы и позже рожают! Почему бы и нет? Столько лет Миша выпрашивает второго ребенка…

Но – как часто случалось в последние недели – она вдруг закашлялась и минут пять не могла продышаться, уговаривая себя, что это пар виноват, какого черта понадобилось пускать такую горячую воду…

…И после ванны, уже обтеревшись насухо полотенцем, долго еще сидела, окутанная паром, не в силах расстаться с собой, не в силах уйти от себя – такой, в платиновом свете тусклых бра, – сидела на краю ванны в своей любимой позе: согнутая в колене левая нога тонкой щиколоткой на колене правой…

* * *

…Еще не открыв глаза, она ощутила под веками то светозарное тепло солнечных лучей, какое чувствуешь в детстве летом на даче, едва проснувшись… Значит, Рита нажарила им с Антошей картофельных оладий, и смерти больше нет и никогда не будет, потому что вот она, Кутя, вырастет и станет, как дедушка, ученым и изобретет такой особый препарат…

…В проем наполовину открытого окна с отваленным наружу, колким от старой краски зеленым ставнем была вдвинута в комнату трапеция солнечного света, верхний угол которой касался края зеркального шкафа, высекая из него фиолетово-зеленые искры… (этот край постреливал снопиками радужных игл, стоило лишь качнуть головой по подушке). Воздушная струйка пылинок бежала вдоль голубовато-зеленой зеркальной рамы… На потолке комнаты волновалась жемчужная сеть.

Это вода в канале, поняла она. Это игра воды внизу, под стенами дома, отзывалась на потолке игрой опалов и жемчугов…

Она лежала, вытянувшись под простыней, заложив руки под голову… Как это ни странно, счастье, свет и чувство покоя не исчезли, а тихо разлились в груди.

Наконец она поднялась и босиком подошла к окну.

– Нет! – сказала она себе, качая головой. – Боже мой, нет!

Внизу тесно плескалась о кирпичные стены домов с кромкой соляной накипи веселая бутылочная вода канала. Поверху все было залито желтком солнца: крыши соседних домов (крапчатая, буро-красно-черная короста черепицы, старинные печные трубы, похожие на поднятые к небу фанфары), балконы с провисшими, груженными мокрым бельем веревками, вчерашний мост, как вздыбленный жеребенок… и все ежесекундно под этим солнцем менялось… Нижние этажи еще погружены были в глубокую фиолетовую тень, но в воде, как в желе, подрагивали облитые солнцем верхние этажи с двумя витыми балкончиками и дрожал краснокирпичный мостик.

Снизу от воды поднимались детские голоса и восторженный собачий лай.

Перегнувшись через подоконник и вспугнув этим двух серо-фиолетовых голубей с изумленными глазами, она увидела парадное соседнего дома, ступени которого уходили прямо в воду. К узкому деревянному причалу перед парадным была пришвартована небольшая лодка с крытой досками палубой, по которой прыгали две девочки, лет пяти и семи. Обе они были в легких пальтишках и, что-то выкрикивая или припевая, по очереди прыгали с палубы катера на каменные плиты подъезда и обратно. Тут же мельтешила суетливым пушистым хвостом черная собачонка, с каждым прыжком приходившая в такой ярый восторг, что лай становился нестерпимым – браво, брависсимо, брависсимо!!!

Поскользнуться, оступиться и уйти под воду было настолько легко, что минут пять она с замиранием сердца следила за прыжками синего и бежевого пальтишек, надеясь, что должен же, в конце концов, появиться кто-то из взрослых…

А когда вы с Антошей, вдруг подумала она, когда вы на даче вскарабкивались на старую яблоню, с которой свалиться на забор Горобцовых, утыканный гвоздями и осколками стекол, было легче легкого, – кто и когда из взрослых нужен был вам в разгар игры?

Каждое детство чревато озорной смертью со своих скользких, обрывистых, острых краев…

Завтраком кормили в большой сумрачной комнате на третьем этаже. Но и сюда сквозь гардины дымно просачивались солнечные струйки… Тяжелые черные балки потолка над белеными стенами придавали всей комнате трактирный вид. Постояльцев – в основном японских студентов – обслуживали две приземистые таиландки.

Не первый класс, нет, и даже не второй… Она вспомнила дрова, сваленные под лестницей… Все прекрасно! Надо бы купить сегодня вина и выпить, обязательно выпить…

Уже одетая в легкую короткую куртку, она спустилась вниз.

Вчерашний портье, который так напомнил ей Антошу, в черной, заломленной с боков, дивно идущей к его острому лицу и густым бровям шляпе стоял по другую, не служебную сторону стойки и беседовал со своим пожилым сменщиком.

Она поздоровалась, сдавая ключ от номера.

– Синьоре понравилась ее комната? – учтиво спросил молодой.

– Очень! Вам очень идет эта шляпа, – заметила она. И как вчера, когда она вдруг полюбопытствовала о его имени, он быстро глянул на нее из-под бровей. Не смутился. Чуть улыбнулся «уленшпигельским» ртом.

– Грацие, синьора.

И открыл перед ней стеклянную дверь, пропуская в переулок и выходя вместе с ней.

– Синьоре нужна помощь? Она достала карту из кармана куртки, развернула.

– Покажите, как пройти к Академии.

Он придвинулся, склонился над картой рядом с ее лицом, будто хотел потереться щекой о ее щеку, снял шляпу – поля мешали…

– Вот, смотрите, – сказал он. – Пересекаете Сан-Марко… и по Калле Ларджо дойдете до Кампо Сан-Маурицио… – Длинный палец с коротко остриженным полукруглым ногтем вычерчивал ее маршрут. – Ну, и по мосту Академии выйдете прямо к ней. – И выпрямился, надевая шляпу. – Синьора интересуется искусством?

Она усмехнулась:

– О, это уже съеденное наследство…

– У синьоры удивительная манера выражаться.

– А у вас отличный английский. Он благодарно улыбнулся и ответил со сдержанной гордостью:

– Я три года учился в Англии… Охотно показал бы вам дорогу, но, к сожалению, тороплюсь на занятия.

– Чем вы занимаетесь? – спросила она тем же прямым, простым тоном, каким спросила вчера его имя.

– Живописью, – сказал Антонио. Она подняла на него глаза. Промолчала… Да это уже нечестно, это – запрещенный прием, но так оно и должно было быть.

– Постойте-ка, покажите только, в какой стороне гетто…

– А, – сказал он. – Я так и подумал.

– Что вы подумали? – огрызнулась она. Он замялся, но ответил быстро:

– Я так и подумал, что синьоре захочется навестить гетто… Это недалеко от вокзала. – И опять он снял шляпу и почти приник щекою к ее щеке, пересыпая свой английский вчерашними, так восхитившими ее «дестра, синистра, дестра», сопровождая объяснения нырками легкой ладони.

Наконец они приветливо распрощались. Он, видно, уже здорово опаздывал. Почти бегом припустил к мостику, впадавшему в узкий переулок, и сразу же исчез в толпе туристов.

А может быть, вдруг подумала она, этот милый итальянский мальчик – всего лишь призрак Антоши? И вздрогнула, внезапно вспомнив, что среди студентов Академии у Антоши была кличка Итальянец, за пристрастие к художникам венецианской школы.

Она повернула и пошла в сторону Сан-Марко тесной, еще по-утреннему затененной улочкой, мимо витрин цветного стекла, сувенирных лавочек с вывешенными наружу масками, мимо кондитерских и кафе, где на вертелах уже пустились в свой торжественный менуэт бледные куриные тушки, шла, натыкаясь на группы горластых подростков в карнавальных колпаках, на пожилых краснолицых немцев и жилистых американских старух.

Повернула за угол и вдруг вышла на вчерашнюю, похожую на залу площадь.

Арочные галереи Новых прокураций еще оставались в тени, но портики уже были освещены солнцем. Она прошла всю площадь, уклоняясь от низко летающих голубей, и наконец обернулась на собор. Синие глубокие озерца стояли в золоте мозаик. Тесный хоровод розоватых, голубоватых, серо-палевых, зеленоватых мраморных колонн издали напоминал легчайшие вязки бамбука. И все это невесомое кружево со всеми своими конями, пятью порталами и пятью куполами было погружено и как бы отдалено в среде мягкого утреннего сияния…

Через Пьяцетту она вышла на мол и глубоко, беззащитно вздохнула: за частоколом косо торчащих из воды, полусгнивших бревен перед ней лежала искристая, белая к горизонту, а ближе к берегу ониксовая, черно-малахитовая, но живая, тяжело шевелящаяся лагуна, как спина гигантского кита, всплывшего на поверхность. И отсюда, со стороны мола, в сияющем контражуре утра из воды вырастало некое видение, как поднявшийся из глубины лагуны бриг: церковь Сан Джордже Маджоре – красно-белая вертикаль колокольни и белоснежный портал с мощным, грузно лежащим куполом.

Она подумала: как жаль, что у нее нет сочинительского дара, а то бы написать рассказ, который весь – как венецианская парча, вытканная золотом, лазурью, пурпуром и немыслимыми узорами, тяжелая от драгоценных камней, избыточно прекрасная ткань, какой уж сейчас не бывает, а только в музеях клочки остались.

Ей вдруг страшно, немедленно захотелось туда, как будто там ждало спасение. И уже минут через пять вапоретто влек ее по маршруту, где первой остановкой после Сан-Марко была прославленная церковь на крошечном островке.

Церковь была еще заперта. Минут десять она побродила по островку, который, собственно, и являл собой только церковь, несколько зданий из красного кирпича и просторный сад, куда не пускали туристов. Была еще маленькая гавань, приткнувшаяся к маяку, в которой уютно покачивались рядком несколько яхт.

За те считаные минуты, что она в восхитительном островном одиночестве шаталась по площади перед церковью, к плавучей пристани дважды причаливал вапоретто, привезший только парочку японских студентов. Впрочем, студенты, упругим шагом обойдя площадь и примыкающую к ней улицу-набережную, достали путеводитель и быстро друг другу из него что-то вычитали, улыбаясь и любознательно поглядывая на статуи святых в нишах фасада. После чего отбыли на втором вапоретто – понеслись далее осматривать достопримечательности. Просто у японцев, она слышала, короткие отпуска и каникулы, а мир так велик, и так много в нем городов, соборов, статуй и картин, которые нужно *осмотреть*…

Здесь было тихо. Маленькая площадь, скорее, большая площадка, была погружена в тень величественного здания церкви. Вскрикивали чайки, ржаво постанывали цепи плавучей пристани. Она подошла к краю, туда, где каменные ступени так страшно и так обыденно уходили в воду… Здесь, как почти везде в Венеции, не было ни ограды, ни даже столбиков. Ничего, что удержало бы человека от того, чтобы *ступить*…

Пожалуйста, иди – подразумевалось: это нестрашно, та грань, что отделяет воздух от воды, бодрствование от сна и солнечный свет от плотной сумеречности лагуны, – лишь видимость, жалкая ограниченность человечьего мира, упрямое стремление отграничить и отделить одно от другого. А мир взаимопроницаем – видишь, как естественно из моря поднялась эта белоснежная громада, как нерушимо стоит она в любовных объятиях воды…

Безумные и прекрасные люди, зачем-то построившие на воде этот город, похоже, вообще игнорировали саму идею разделения стихий, словно и сами поднялись со дна лагуны. Все здесь до сих пор напоминало их невозмутимую веселость, их мужество и лукавство, их труд и праздники… а главное – их бессмертные руки…

Наконец – и все-таки неожиданно – в двери что-то ржаво провернулось, она растворилась вроде сама собой, во всяком случае, за ней никто не стоял, а скорее всего, глубокий сумрак внутри не позволил разглядеть человека, отворившего церковь.

Она поднялась по каменным ступеням и вошла внутрь, где было холодно, темно и – ни души. Но минут через пять глаза освоились, и она прошла к алтарю, где должны были висеть – так значилось в безграмотном путеводителе – два полотна Тинторетто. Они там и висели, в темноте, ничего было не разглядеть. Ай да итальяшки, подумала она, вымогатели чертовы, – достала мелочь и бросила пятьсот лир в счетчик фонаря сбоку. Зажглась лампа, тускло осветив картину. И она отошла к скамье и села, одна в пустой церкви.

Это была «Тайная вечеря», десятки раз виденная на репродукциях.

(«Ты только посмотри, – объяснял ей когда-то Антоша в их бесконечных блужданиях по площадям Эрмитажа, – руки на картинах венецианцев – возьми Тициана, Веронезе, Тинторетто или Джорджоне – не менее выразительны, чем лица. Они восклицают, умоляют, спрашивают, требуют, гневаются и ликуют…») Когда-то Антоша объяснял ей про величие и страсть Тинторетто. Странно, что она помнит это до сих пор, и странно, что не помнит – в чем именно, по мнению Антоши, заключались величие и страсть. И что тревожит ее так в этой огромной картине?

Несколько раз она поднималась и бросала по пятьсот лир в счетчик лампы… Да, руки… Да, лица в тени, вполоборота, в профиль, опущены или заслонены, словно персонажи уклоняются от встречи с тобой. А руки так потрясающе одухотворены, так живы, так дерзки, так коварны. Картина шевелилась от движения множества изображенных на ней рук.

Вдруг заиграл орган. Она вздрогнула – ее обожгло минорной оттяжкой аккорда, – и сразу побежал, как ручей крови, одинокий, ничем не поддержанный пассаж правой руки, заструился; его прервал опять саднящим диссонансом аккорд в верхнем регистре.

Органист репетировал к вечерней мессе «Прелюдию» Баха, начинал фразу сначала, бросал, повторял снова, повторял аккорды, пассажи… умолкал на минуту и снова принимался играть – и все это было прекрасно и точно, и словно бы так и надо, и все – для нее одной…

Если смотреть отсюда, из полутьмы собора, в проеме двери плескалась ослепительной синевы вода лагуны и цветно и акварельно на горизонте лежала Венеция.

Она слушала репетицию мессы и смотрела на «Тайную вечерю» Тинторетто, на ее глухие тревожные красные…

И вдруг вся мощь басов тридцатидвухфутовых труб органа потрясла церковь от купола до каменных плит пола: ошалелый восторг, слезный спазм, дрожь перед чем-то непроизносимо великим, – как воды, прорвавшие дамбу, – обрушились на нее, и в какой-то миг этого разрывавшего ее счастья она поняла, что мечтает сейчас же, немедленно уйти на дно лагуны, сидя на этой вот скамье, в этой церкви, вместе с ее великолепными куполом и колокольней, статуями, картинами Тинторетто…

Уже собравшись уходить, она обошла церковь и вдруг наткнулась на табличку со стрелочкой, указывающей вход на колокольню. За три тысячи лир туристам предлагалось осмот-

реть окрестности с высоты птичьего полета. Мимо резных инкрустированных деревянных хоров она прошла по стрелочке в служебные помещения и уткнулась в створки абсолютно нереального здесь лифта. Нажала кнопку, где-то наверху что-то звякнуло, тренькнуло – звук утреннего колокольчика в богатом доме, – через минуту створки разъехались, и она слегка отпрянула, потому что в тесной кабине лифта, как Дюймовочка в жужжащем цветке популярной игрушки времен ее детства, стоял священнослужитель в коричневой рясе и приветливым жестом приглашал ее внутрь. Рядом на табурете стояла плетеная корзинка с бумажной и металлической мелочью.

Она улыбнулась в ответ, вошла в лифт, и они поехали вверх. Принимая деньги и отрывая билет, молодой человек спросил по-итальянски: хочет ли синьора побыть на колокольне одна или ей нужен гид? Она кротко поблагодарила: синьора предпочитала побыть наверху одна, пока черт не принесет кого-нибудь из туристов. Он выпустил ее и, держа палец на кнопке, свободной рукой махнул по всем четырем направлениям: там Сан-Ладзаро, там – Сан-Микеле ин Изола, вон там – Сан-Франческо дель Дезерто… Мурано, Лидо… И вновь она зачарованно следила за легкими взмахами его длинной ладони… и опять подумала о бессмертных руках венецианцев, с первых минут здесь державших ее в поле своей пластической магии.

Наконец лифт уехал.

Ей казалось, что за сегодняшнее утро уже израсходован весь отпущенный ей запас той странной душевной смеси горючего восторга пополам со сладостной тоской, которая – она была уверена – осталась навсегда в далеком детстве, в чем-то каникулярно-новогоднем, снежном, елочном, подарочном счастье… Но тут, стоя под крышей колокольни и изнемогая от того, что открывалось глазам с четырех сторон, она думала – благодарить ли ей судьбу, подарившую все это перед тем, как… или проклинать, все это отнимающую…

Вид божественной красоты открывался отсюда. Далеко в море уходил фарватер, меченный скрещенными сваями, вбитыми в дно лагуны. Островки и острова, сама светлейшая Венеция – все лежало как на ладони: великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури, крапчатые коврики черепичных крыш, остро заточенные карандашики колоколен, темная клубистая зелень садов на красноватом фоне окрестных домов…

И правда, когда Бог трудился над этой лагуной, Он был и весел, и бодр, и тоже – полон любви, восторга, сострадания… И тут, объятая со всех сторон этой немыслимой благодатью, она подумала с обычной своей усмешкой: а может быть, ее *приволокли сюда* именно из сострадания – показать райские картины, подать некий успокаивающий, улыбающийся знак: мол, не бойся, не бойся, дорогая…

Трижды звякнул колокольчик, и послышалось кряхтенье кабинки лифта. Она недооценила безжалостную самурайскую последовательность японской парочки. Они вернулись, безусловно успев за это время *охватить* еще какую-нибудь церковь.

– Погодите! – сказала она юноше в лифте. – Я спускаюсь с вами… Вам не скучно так ездить весь день? – спросила она его.

Он улыбнулся:

– О нет, не весь день! Я только утром подменяю нашего лифтера. Вообще я арфист. Откуда синьора?

Обычно она уклончиво отвечала на этот вопрос: так миллионер не торопится афишировать свои богатства. Но этому парню, длиннорукому *арфисту,* богачу, владельцу этой лагуны, этому – равному – ей захотелось *сделать подарок.*

– Из Иерусалима, – сказала она и с удовольствием, с тайным удовлетворением услышала благоговейный возглас… И еще два-три мгновения, пока лифт не опустился, они смотрели друг на друга с улыбками равных…

Пообедала она в маленькой траттории на углу уютно-семейной, с трех сторон укрытой домами площади.

Подавала девочка лет пятнадцати, некрасивая, длинноносая, этакий девчачий Буратино. Подпрыгивая, пришаркивая, как в классы играла, она бегала от одного столика к другому, вытаскивала из кармашка блокнотик, что-то вычеркивала, записывала, убегала, прибегала. И, спрашивая, близко наклонялась к клиенту, улыбалась, подмигивала, острым носом лезла в тарелку, проверяя, все ли в порядке. Кажется, ей страшно нравилась ее работа.

Курица была хорошо прожарена и вкусна.

Она сидела у окна и, разгрызая куриное крылышко, неторопливо рассматривала площадь с каменным колодцем в центре, накрытым круглой деревянной крышкой.

Отсюда был виден и канал, протекающий вдоль одного из зданий – всего в краснокирпич-ных язвах под облетевшей штукатуркой. Из-под моста одна за другой, привязанные, как лошади, кивали золочеными гребешками гондолы.

Медленно допивая большой бокал домашнего вина (девочка, заговорщицким тоном: «Не берите кьянти, синьора, возьмите нашего домашнего, не ошибетесь, мы заказываем его у Пеллегрини, что под Вероной». И правда, домашнее оказалось вкрадчиво мягким, обволакивающим нёбо, как раз таким, как ей нравилось), она смотрела, как в романском окне второго этажа дома напротив показался старик в голубом белье и, глядя вниз, на женщину, раскладывающую на лотке пучки бледного редиса, медленно закрыл обшарпанный солнцем ставень.

…Довольно долго она стояла на мостике, локтями опершись на деревянные простые перила, курила и смотрела, как меняется цвет воды в канале, как вспыхивают и маслянисто колыхаются тяжелые блики: слева сюда впадал еще один узкий проток, и вот оттуда, из-за домов, со стороны заходящего солнца на воду лег бирюзовый язык света, в котором на искрящейся, шкворчащей сковороде жарилась синяя плоскодонка.

То, что этот первый из трех отпущенных ей дней уходит, она поняла, только когда на набережной Пьяцетты зажглись лиловые, похожие на гигантские канделябры, тройные фонари. Лилеи, подумала она, лилейные фонари…

И сразу почувствовала, как устала.

Вернувшись в гостиницу, еще немного постояла у окна…

Небо, словно выдутое из венецианского стекла, еще горячее внизу, у искристой кромки канала, вверху уже загустевало холодной сизой дымкой. Крыши еще были залиты солнцем, стены домов с облетевшей штукатуркой, с островками обнаженной краснокирпичной кладки – все это ежесекундно менялось, таяло, дрожало в стеклянной воде канала. Мостик в воде колыхался люлькой, парил над небом – в воде… В мелких суетливых волнах скакал серпик месяца. В воздухе таяли звуки уплывающего аккордеона… Она сказала себе:

– Иллюзия счастья…

Потом сняла куртку и легла, не раздеваясь, велела себе – «на минутку», но сразу уснула и проспала, вероятно, часа два.

Разбудил ее колокольный звон. Он качался и плыл в колеблющихся сумерках, как тяжелая вода каналов. Сначала ударили на колокольне Сан Марко, и минуты две на одной гудящей ноте гул раскачивал сам себя, потом с колокольни одной из соседних церквей – Сан Джулиано или Санта Мария Формоса – стали выпадать равномерные густые басы, иногда роняя невпопад какие-то случайные бимы и бомы. Потом звонарь Сан-Марко, торопясь, перебрал подряд все колокола вверх и в обратном порядке – по малым терциям да по малым септимам, – терзая сердце жалобными протяжными вопросами.

И долго разговаривали колокольни окрестных церквей, перебивая друг друга, вскрикивая, захлебываясь лепетом маленьких колоколов, увязая, как в киселе, в тревожном густом гуле.

Она стояла у окна и смотрела на крыши, балконы и трубы, на плывущие понизу улицы-канала гондолы, на освещенные изнутри зеленые гардины в трех высоких окнах соседнего дома – наверное, там и жили две девочки, так бесстрашно плясавшие сегодня утром на шаткой палубе катера…

Наконец отошла от окна, достала купленные в лавке листы бумаги, ручку и села писать домой обещанное послание.

«Дорогие Миши-Маши! – писала она. – Не будем мелочиться: я в Венеции… Хожу по улицам с русским путеводителем, купленным на вокзале в Милане. Переведен чудовищно, смешно читать, перевраны все названия, имена художников и исторических деятелей. А сезонное наводнение, в которое я просто обязана по времени угодить, переведено буквально с „аква альта“ как „высокая вода венецианцев“. И все это прекрасно. Гостиница чудесная, обшарпанная, затрапезная, в моем распоряжении два патрицианских танцевальных зала – вероятно, в сезон номер предоставляется труппе аргентинского варьете или многодетной семье какого-нибудь бруклинского страхового агента, только этим я объясняю наличие двух (!) умывальников в ванной.

По утрам безмолвный таиландский дракон с базедовой болезнью подает мне сухой круассан с чашкой – не буду хаять – приличного кофе.

Как всегда, в спешке забыт фотоаппарат и, как всегда, купить здесь новый – не хватает пороху… Вот и не останется памяти…»

Она перечитала написанное, усмехнулась. Ну, с памятью у тебя в самое ближайшее время действительно намечается напряженка…. Интонацией, впрочем, осталась вполне довольна. Пора было переходить к туристической части.

«Под моими окнами – узкий канал Рио де Сан-Джулиано, один из сорока пяти венецианских каналов. Вечерами по нему все время ходят гондолы. Иногда целыми флотилиями – по четыре, по пять. В средней сидит музыкант, аккордеонист или гитарист. Один такой играл вчера… правильно, „Санта Лючию“! – а гондольер пел. Пассажирами была чета пожилых японцев. Они сидели, задрав опрокинутые широкие, как бы раздавленные всем этим великолепием лица, и в их ошалевших азиатских глазах проплыло мое распахнутое окно. (Японцев и прочих можно понять: здесь то и дело кажется, что сердце разорвется от счастья. Просто сердечная мышца не вынесет этого пламенеющего груза.) Еще из повадок гондольеров: заворачивая за угол дома, они кричат „О-ои!“ – предупреждая друг друга, чтобы не столкнуться. „О-ои! О-ои!“ – разносится над водой каналов – то ли крик боли, то ли стон любовный…

За работающими гондольерами забавно наблюдать с мостиков. Они вращают весло в воде замысловатыми круговыми движениями и, если близко притираются к стенам домов, отталкиваются от них ногой. Обычно они в униформе: соломенная шляпа с красной или черной лентой, тельняшка и черные брюки. Стоят на корме, на коврике, и эквилибрируют, как канатоходцы. Проплывая под мостиками, наклоняются. Сегодня, стоя на мостике, я наблюдала одного такого бравого гондольера. Он наклонился, лысина его побагровела, стало видно, что он уже пожилой человек и зарабатывает на жизнь тяжелым, в сущности, трудом.

Гондолы длинные, черные, лакированные, сиденья внутри обиты красным бархатом. Иногда по бортам – золоченые морские коньки или еще какая-нибудь живность. Иногда в гондоле стоит роскошный стул, обитый парчой.

Была в Академии, часа три бродила по залам, но, очевидно, в юности перенасытилась этим высококалорийным продуктом. Главное впечатление: у младенцев на картинах Беллини ножки пожилых дебелых дамочек. А печные трубы, расширяющиеся кверху (например, на крыше палаццо Дарио), совершенно такие же, и я думаю, даже те же, что и на картинах Карпаччо.

Здесь я и венецианских мавров видала – на набережной Пьяцетты они беспатентно торгуют сумками кустарного производства. Когда карабинеры совершают облаву, мавры бросают весь товар и бегут врассыпную. Все-таки это – некоторое удешевление образа, нет? Постмодернизм нашего бесстыжего века».

Она опять ревниво перечитала написанное и опять осталась собой довольна. Миша ничего не заподозрит. Из последних сил она оттягивала эту смертную казнь. И вдруг поняла, что уехала только из-за Миши. Это Миша доживал последние дни – дни неведения. Это он там, взбешенный ее внезапным и необъяснимым исчезновением, ничего не понимая, – все-таки оставался еще самим собой, и жизнь еще не накренилась в преддверии смертельного обвала.

«Деревянные мостки, сложенные штабелями на пьяцца Сан-Марко, – быстро писала она, – свидетельствуют о том, что венецианцы всегда готовы к появлению своей „высокой воды“. И я надеюсь-таки на этот аттракцион.

Город сконцентрирован, сжат каналами, свернут, как раковина, повернут к Богу. Вынырнешь на какой-нибудь кампо, глотнешь сырой морской воздух и опять – изволь в лабиринт, петлять по мосткам…

Голуби на Сан-Марко не летают, а семенят, переваливаясь. Не вспархивают из-под ног туристов, а просто отходят – вообще ведут себя как деревенские свиньи перед телегой. Сегодня я купила мешочек с зернами маиса, насыпала в вязку свитера на сгибе локтя. Мгновенно на локоть слетелись эти безмозглые приживалы – выклевывать из свитера маис, и я так и ходила по площади, как святой Марк.

Вот вам мои первые венецианские впечатления.

Напоследок картинка. По Гранд-каналу плывет флотилия: впереди катер полиции – на носу полицейский свистками и яростной жестикуляцией разгоняет яхты, гондолы, вапоретто, заставляя их прижаться к берегу. Следом – мощный грузовой катер тянет на тросах баржу, груженную подъемным краном и всяким строительным материалом: мешками с цементом, ящиками, кирпичами… И замыкают флотилию два катерка-фраерка, для порядку, а больше для форсу: карабинеры, раскинувшись вольно на корме, что-то жуют и, судя по мельканию рук, беседуют. (Вообще, руки у венецианцев – главная часть души. И это прекрасно понимали их художники.)

Завтра утром отправлю это факсом. Не скучать! Вернусь в воскресенье вечером. Целую – доктор Лурье.

Странно отличается здешний колокольный звон от такового в Амстердаме. Там – устойчивость, могучая основательность бюргеров. Здесь – мираж, отражение в воде канала, вопрошающий гул рока…»

Перечитала письмо и аккуратно вычеркнула последний абзац.

* * *

Утром на водостоке под ее окнами ворчливо и хмуро переругивались голуби, и она, не открывая глаз, поняла: сегодня пасмурно. И долго стояла у окна, наблюдая рабочую грузовую жизнь в сеточке дождя.

Сначала к подъезду соседнего дома подкатил катер-мусорка. Двое мужчин в желтых дождевиках боком пришвартовали катер, один поднялся в парадное и оттуда стал швырять другому пластиковые мешки с мусором. Минут через пять они отчалили и, так же кропотливо пришвартовавшись у соседнего парадного, забрали мусор и там…

Рябая вода канала, облезлые, в соляной кромке стены домов – все было погружено в моросную дымку. Печные трубы, похожие сегодня на старинные докторские трубки, прослушивали тяжелую, набухшую мокротой грудь неба.

Минут через десять после мусорки к другому дому протарахтел замызганный катер, груженный мешками, досками, ящиками. Долго приноравливался боком к узкому дощатому причалу, наконец примостился, и паренек в таком же прорезиненном, блестящем от дождя плаще, подняв на закорки тяжелый мешок, ступил на доску, перекинутую с борта катера на причал, и, напрягшись, балансируя, одним движением ловко забросил мешок в парадное. Все эти несколько секунд она следила за ним, чувствуя страшное физическое напряжение (так молодой акушер тужится вместе с роженицей), потом, сглотнув с облегчением, сказала вслух:

– Молодец. Молодец!

После завтрака, надев поверх тонкого серого свитерка еще один, Машин свитер, она спустилась вниз. Принимая у нее ключи, пожилой, простоватого вида портье сказал вдруг:

– Завтра с утра дежурит ваш приятель.

– Мой приятель? – холодно переспросила она, хотя сразу поняла, кого он имел в виду. И рассердилась. Уж не подмигнул ли он? Нет, не посмел.

– Простите, синьора, мне показалось, что вы с Антонио давно знакомы…

– Вам показалось, – сухо отозвалась она. Набросила капюшон куртки, толкнула стеклянную дверь и вышла в дождь. Рассердилась на самом деле на себя. Если б не его неожиданная фраза, она сама спросила бы, когда дежурит этот милый мальчик, так похожий на Антошу.

Через Бумажные ворота Дворца дожей она вошла в арочную галерею двора. Там построилась рота карабинеров. Рыжий дюжий капитан с обнаженной шпагой выкрикивал команды, и все не очень дружно поворачивались то вправо, то влево. Трубач в штатском, в застиранном свитерке, очень точно, нежно и сильно выпевал длинные музыкальные фразы.

Она поднялась наверх и часа два бездумно бродила по ошеломляюще огромным роскошным залам, подходя к окнам, подолгу глядя на укутанную туманом лагуну.

На набережной еще не выключили фонари, их свечение в утреннем сыром тумане образовывало магические круги, нежнейшую субстанцию, видимое воплощение бесконечной печали…

На огромных старинных картах XVI века в Зале Щита она, конечно, искала свою страну. И нашла, и поразилась: очень точно указаны были границы владений колен, обозначены имена – Иегуда, Менаше, Дан, Реувен, Иссахар… А вся страна называлась… Палестина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.